

Павел Кренев

## ДОЛГИ НАША

1

- Трофимко!

- Че, папа?

- Бахилишшами своима шаркашь, ёкэлэмэне, страхи Божьи как. Потише-то не мошь? Зверя всего перепугашь, огудан.

Два охотника идут за добычей.

Они переговариваются вполголоса, стараются аккуратней ступать на лед, «на мяконьку пяту», как говаривают промысловики.

Да все равно мало чего путного от всех их предосторожностей выходит: гул от ходьбы раздается такой, что, наверно, слышен аж на Зимнем берегу.

Вокруг, по всей ширине раскинувшегося ледяного простора стоит мартовская ночь, морозная и звездная.

Два зверобоя шагают по подтаявшей днем, но сейчас, ночью, крепкой ледяной корке. Поверхностный снег уже съеден весенним солнышком и ветрами-бокогреями, задувающими, считай, каждый день с летней стороны. А по ночам – так уж заведено Природой – подразмытая теплом белая равнина покрывается хрупкими и звонкими матовыми хрусталиками, которые ломаются под ногами, немилосердно трещат, взрываются, стреляют...

И треск этот и гул чутким морозным воздухом расшвыриваются по сторонам, уносятся и в морскую темно-синюю голомень, и к черной полосе берега, и в бездонное весеннее небо, густо усеянное звездными серебряными и желтыми крапинами.

На сердцах промысловиков сладким бременем лежит радость предстоящей охоты и привычного для каждого помора азарта, ожидаемых неповторимых его моментов, вековечно сопровождающих древнее зверобойное занятие.

Распахнутый в бездонной выси небесный купол встречает своей твердью летящие с земли хрустящие звуки и, поиграв с ними, позвенев в скоплениях золотых звездочек, пружинисто отбрасывает назад к бескрайней плоскости ледяного поля. Царящая в пространстве симфония небесных и земных звуков обнимает охотников со всех сторон, и они шагают в ночи, застигнутые морозной музыкой мироздания.

Два помора движутся к своей цели – к открытому, свободному ото льда морю, где их ждет добыча. Где гоняют на вольном разгуле жирную сайку толстые тюлени - лахтаки и нерпы, где шныряют в морских глубинах залетные ловкие громилы – гренландские тюлени, заскочившие в Белое море для бандитских своих набегов из родного холодного Ледовитого океана, от Баренцевых льдов на осоловевшую от первого солнышка прибрежную рыбу.

Мужики тянут зверобойную лодку. Сквозь кочетья пропущен гладкий шест-пентур, и они шагают, держась за его концы. В лодке лежат их винтовки, пестери с едой и патронами. Там же мешок с чайником, запасной сухой одеждой, спичками. Еще в одном дыроватом мешке дрова и растопка. Все у охотников припасено, ничего не забыто.

Лодка скользит по льду стальным своим наезженным полозом, идет легко, но все-таки постукивает на неровностях скользких вытаин, маленько громыхает просохшим, а потому звонким корпусом.

Ее, эту новенькую зверобойную лодочку, Петр Акимович сшил еще летом. Было у него на ту пору уже два самостоятельно сшитых карбаска. Один – ядрененький, для выхода на море, для морских, стало быть, привычных надобностей, стоял, где ему и положено – напротив дома, под навесом, другой – поменьше – круглогодично коротал свои полезные

денечки в лесу, на Долгом озере, родовом месте промысла его семьи. Чего там говорить, оба карбаска были при деле.

Но хорошему хозяину всегда всего мало. Всю жизнь мечтал Петр Акимович о «путней» зверобойной лодке. В чем, спросите, разница между ею и карбасом? А это для убедительности то же, если сравнить тяжелое и неповоротливое транспортное судно и легкий боевой крейсер – морской охотник, легкий, полный боевой мощи. Зверобойная лодка – это разговор особый, предназначена она для погони за тюленями в море. Сделана из легкого, утонченного материала, тонкой доски, она легка и изворотлива, очень устойчива на воде. Должна она и за зверем в море поспевать и по льду за охотником бегать. Быстрая лодка – половина удачи!

Такую вот лодочку и сшил Петр Акимович прошлым летом.

Дело оказалось совсем непростым: опыта совсем у него не было, а всех рукоделистых, натоделных мужиков убила война.

Что было делать? Петр, до конца не вылечивший тяжелое ранение ноги, выхрамывал по деревне, как бы ненароком наведывался к старому старичью, древним дедам-плотникам, интересовался, что, да как, какой требуется инструмент? Около сальницы валялись полузамытые в песок две старинные, полусгнившие «зверобойки». Петр Акимович их только что не обнюхал – все выглядел, прощупал каждый шпангоут, гвоздик, набой... И в общем-то понял главное: что да как было задумано, скроено и сделано. Разобрался в секретах.

Зато семь раз отмерил, а потом уж и лодку сшил как надо. На загляденье самому себе и всем.

Перво-наперво пошел он в лес вырубать кокоры. Никого с собой не взял, хотя сын его Трофимко крепко просился.

Непростое это дело – подыскать годную лесину с подходящей корневиной, да так, чтобы сам изгиб между стволом и главным корнем образовал очертания будущих носа и кормы, чтобы древесина была цельной без единой щелочки и сучков.

Требовались две кокорины – кренины, два охлупня под нос и под корму. Петр Акимович пошел искать подходящие лесины в молодой ельник,

подросший за войну вдоль ездовой дороги на Чевакино озеро. Нашел их совсем рядом с этой дорогой. Долго откапывал лопатой корневища, щупал руками каждый сантиметрик и решил наконец: подходят!

Посидел рядышком на подгнившем пеньке, скрутил махорочную сигарку и задымил. Сидел, пыхтел привычным дымком и размышлял:

«А справную лодочку смастерю я из этих вот кокоринок».

Пошумливали над ним лесинья, летели к морю белесые облака, а Петр все посиживал, покуривал и млея в благодных думках. Давние мечты его наконец-то становились на ноги. Петр сладко щурился, покашливал и с особенной приятностью глотал клейкий махорочный дым.

Потом он поднялся, непонятно для чего постучал обухом топора о стволы выбранных елок, удовлетворенно крякнул, закинул топор на плечо и пошел домой.

Через неделю они с сыном Трофимком завершили лесную работу. Приехали сюда на колхозной телеге, запряженной на послушной кобыле Карьке и часа за два вырубили утонченные, легкие, справные кокоры.

Сам пошив лодки занял неделю. Трофимко был «подносчиком патронов». Помогал, как мог: сращивал вместе с батьком кокоры – мастерил ровный киль, помогал выстругивать и крепить шпангоуты, выравнивал и крепко прижимал набои, пока отец прибивал их тонкими, плоскими гвоздями, изготовлял и выстилал по бокам днища еловые креньки, выстругивал и закреплял поверх набоев ровные баркоты, выделявал и прилаживал кочетья.

Польза от него была большая. Но Петр Акимович, как без этого, маленько ворчал, поругивал сыночка. Они ползали на коленках по днищу, шаркали по доскам тяжелой банкой с гвоздями, крепили набои, и отец деланно шумел:

- Чего, Трофимко, шириссе, пакши растопырил ёкэлэмэне, а шшелья наделал промеж досок. Будет нам зверобойка. Потонем, дак...

- Папа, каки-таки шшелья? Ножичка не просунуть нигде.

Трофимко понимал, что это отец так, для остротки говорит, что отец шутит.

Старинное деревенское мужичье и бабье хаживало вокруг, чмокало губишшами:

- Ты, Петрушка, весь в батька свово, в Акиму. Тоже справной был, дак. Гвось какой забивал дак уж не выташшить было ево. Карбаса таперича, Петруша, в поратой тебе. Ожидай таперича заказов...

Лодочка получалась ладная.

### 3

Петр Акимович крепко любил Трофимку. Судьба не дала ему сына. Жена его Анисьюшка еле-еле разродилась дочкой Татьяной: какие-то нелады образовались у нее по женской части. И фельдшер Бурков запретил ей рожать.

- Помереть можешь, дева, - предупредил он роженицу, - трудности у ты каки-то с проходимостью плода. Все, остановись.

Петр Акимович берег жену от всего худого, и рожать они перестали. Хотя, конечно, сыночка хотелось. Как в деревенском хозяйстве без второго мужика?

Тут-то вот Трофимко и подвернулся. Был он сыном троюродного брата Анисьи, жили в одной деревне. Смальства приноровился прибредать к теткинному дому. Чаевничал, уминал шаньги, и страсть как любил судачить с Петром. Умора было глядеть: посиживают вдвоем на берегу, с краю штабеля из бревен – шестилетний малец и тридцатипятилетний мужик и громко, всерьез обмусаливают важнейшие проблемы современности. Трофимко при этом спорит, машет ручонками, доказывает чего-то, а Петр Акимович разговаривает с ним, как с равным, со всей серьезностью возражает и настаивает на своем.

Парень рос не по годам смышленным, рассудительным, сымальства рассуждал на хозяйские темы со знанием дела.

И Петру втихаря мечталось: вот бы мне такого сынка в дом. Ладной растет мужичок.

Трофимке, видно по всему, тоже приглянулось бывать в теткинском доме. Уходить из гостей не хотел ни в какую. Когда за ним приходила мать, прятался или на повети, или под лавкой в сенях, или еще где. Мать искала по углам и донимала угрозами:

- Ну выдь, окаянной, дак тебя хворостиной и ожедерну.

В руках у нее в самом деле была хворостина. Но он не выходил из своих укрытий, и тогда мать грозилась самым страшным страхом, которого мальчишка по-настоящему побаивался.

- Счас вот батька приведу сюды, дак уж он-то навтыкат, тебе, огудану, ремня-та и задаст! Вот ты дождессе счас!

Трофимко распрекрасно знал, что сама она не ожедернет, жалеет она его, а вот отцовского ремня обоснованно побаивался: бывало уже, получал он этим предметом по одному месту...

Получилось все как-то само собой. Трофимков батько – знатный колхозник Николай Жарков погиб на зимней рыбодобыче. Ловили на Унской губе в рюжи навагу, он по неосторожности поскользнулся на краешке полыньи и ушел под воду. Вытащили его, конечно, но он весь сырой, а мороз под тридцать, а до становища, где можно отогреться, километра три по открытому льду... Обогреться негде...

В пути он замерз.

У матери Трофимки четверо детей. Оставшись без мужа, она начала форменным образом бедствовать. Колхоз, конечно, помогал, да, чего там, семья крепко обнищала, тяжело и с едой, и с одеждой, и с обувкой, а ребятишки растут... Встал вопрос, чтобы кого-то из детей отправить в детский дом.

Вот этого Петр Акимович перенести не мог. Согласовал вопрос с женой, с мамкой Трофимки и пошел в сельсовет. Там попросил разрешения усыновить парнишку.

Пока суд, да дело, пока согласовывались где-то документы, Трофимко уже всю жизнь жил в доме Петра Акимовича.

Обстановка была для него вполне благожелательная, и он скорехонько совсем освоился. И через малое время кувыркнулся на снегу в обнимку со свирепым для других хозяйским кобелем Алтаем, и тот на него страшно притворно рычал, оголтело лаял и лизал щеки.

И по утрам мальчишка прыгал с разбегу с высокого крыльца и летел в первый школьный класс, вертя над головой портфель и кричал на всю деревню боевое «урр-ря!».

Петр Акимович дал ему свою фамилию и свое имя для отчества. Обозначил их в метриках.

Потом настал желанный момент, когда Трофимко встретил Петра, возвращающегося с работы и, пока они вышагивали вдвоем, спросил отчетливо и просто:

- Папа, а можно мне тебя таперича папой называть?

Петр вдруг как бы споткнулся, клюнул головой вниз и замедлил ход. Спрятал глаза. Он не ответил. Не смог.

Трофимку этот вопрос явно донимал, и он спросил еще раз. Петр как-то стушевался, он пробурчал чего-то вроде «можно-можно» и начал отставать. Замахал рукой, указывая сыну, мол, «иди вперед, иди».

И тот умчался довольный, что решил важный для себя вопрос.

А Петр Акимович присел на придорожное бревнышко, спрятал лицо в локти, в колени, и плечи его начали трястись. Он заплакал от великой радости. От того, что у него появился долгожданный сын.

А потом Трофимко был вместо хвостика у своего обретенного отца. Все детство и всю юность.

Петр Акимович сильнейшим образом, всем крестьянским нутром любил лес, рыбалку, да охоту. Удача для него заключалась и в том, что и

сынишка его, Трофимко, рос таким же. Из леса не хотел уходить. Семилетним ребенком совал нос под каждый куст, искал там гнездышки, да мышинные норки, как собачка какая. А уж, если находил там живность, визгу-то было, визгу-то! Поймал однажды птенчика, спрятал в ладошках и хотел отнести домой.

- Пускай, - сказал, - с нами живет, мы его с рук кормить будем. Ручная будет птичка и по дому летать.

Сдался только, когда отец убедил его.

- Вот ты, Трофим ребенок, и он тоже ребенок. У него батько с маткой тоже имеются. Хорошо им, Трошка, станет, ежели ребенка их украдут, да невесть куда уташат? Они же заревут, страхи Божьи как. А ежели тебя, сынок, украдут, я ж помру сразу с горя. Ты это понимаешь?

Трофимко все понял, аргумент его доконал. Он бы тоже без отца жить не смог. Он сел на землю рядом с кустом, где находилось гнездышко, опустил голову, долго через приоткрытые ладони разглядывал серые перышки птенца, черные крапинки глаз, потом вздохнул и положил его под куст, вернул батьке с маткой.

Рос Трофимко, как и все деревенские мальчишки, шустрим и вертким, любил озорство и игры. Но была за ним странность, необычайная, заметная всем черточка – он до бесконечности, до самозабвения был привязан к отцу своему, к Петру.

- Не батько ведь, - судачили женочки, - а бегат за им навроде шшеночка малого. В кажну дырку за им сучече. Штё оно тако-то?

В самом деле, после уроков Трофимко обязательно находил Петра Акимыча в любой точке деревни, где бы тот сегодня ни работал. Обезит всех, повыспрашивает народ, а как найдет, успокаивается. Отец топориком машет, а сынишка посиживает рядком, трещит чего-то о школьных делах.

Им обоим было хорошо.

Любили они вдвоем ходить в лес, на рыбалку и на охоту.

В конце лета, когда ядреный, нагулявший мясо окунь собирается в косяки и на закатах и утренних зорях начинает гонять в озерах стаи рыбной

молоди, отец и сын частенько бывали в тех местах. У Трофимки от предвкушения удачного клева немилосердно гудело все тело, он прыгал с удочкой по берегу, сучил ногами и все никак не мог распутать вдруг запутавшуюся леску. Потом черви уползали из его дрожащих пацанячьих пальцев, потом он не мог насадить наживку на крючок, потом не удавалось ему сделать заброс... Он ныл и поскуливал словно щенок какой. Батяка ему помогал, наставлял, успокаивал:

- Ты, Трофимко, ето, остынь, ёкэлэмэне. Не к пирогам бабкиным торописсе всяко. Рыбеха куда она денечче? Успешь, бывает.

Самым крепким ругательством у Петра Акимовича было это самое «ёкэлэмэне». Все давно к нему привыкли.

А у Трофимки все никак не получалось забросить, куда ему хотелось. Он дергал удочку, рвал крючком кувшинки и форменно, по-собачьи скулил.

Петр обхватив руками живот, посиживал на бережном пригорке и беззвучно, чтобы не вызвать у сына досаду, трялся от хохота.

Радостной для него была эта картина сыновьего азарта.

Ближе к ночи они усаживались у костра, хлебали из котелка окуневую, да ершовую уху, попивали чаек, заваренный на брусничьих листьях. Ложились на мягкие еловые лапinya и глядели в небо. Молчали, просто глядели.

Там, в высоком-высоком, темном августовском небе, из которого совсем уже улетучилась летняя синь, парили между сиреневых, легких, рваных облаков вполне уже яркие звездочки. Они играли друг с другом в прятки и одна за другой ловко ныряли под пологи мягких облачных одеялец. И другие звездочки не могли их никак найти, как ни пытались.

В азарте игры звездочки ударялись друг о друга, потом отскакивали, вновь сближались. От этих столкновений осыпалась с их поверхности яркая, мерцающая звездная пыль, кружилась, искря, в воздухе и плавно оседала на землю. На лес, на озеро, на Трофимку с отцом.

И они лежали в уюте звездной пыли.

В бережных кустах на озере крякали спросонок встревоженные какими-то звуками утиные выводки, плехала о берег вода, напевно позванивали от легкого ветерка подсохшие за лето камышевые стебли и ворочались в пестерьке наловленные за вечер окуни.

Они любили лес. И отец и сын.

## 5

Они дошли до морской кромки часа за два до рассвета. Старались разговаривать шепотом, не шабаршить сильно по льду стальным килевым полозом и бахилами. Шуметь было нельзя – тюлени могли спать на льду где-нибудь совсем рядом.

- Курнуть бы, батя, чичас. Благодать было бы.

Трофим наклонился к уху отца и нашептывал такие вот провокации. Сам он никогда не курил и страсть как хотел, чтобы и отец бросил.

- Шуткуй, изгиляйся над батькой, ёкэлэмэне. – Петр Акимович сокрушенно мотнул головой: курить ему очень уж желалось. И горестно прошептал с гортанным свистом старого курильщика:

- Да нельзя нам, распугам всю живность. Вот и пошагам взад нагурьи.

Сын только улыбался. Ему все нравилось на охоте.

Они подперли борта лодки запасенными чурбачками, залезли вовнутрь, улеглись на ее дне и, накрывшись брезентом, в полудреме пролежали до рассвета.

Посвистывал в лодочных набоях несильный холодный ветер, поддувавший то с одной, то с другой стороны. Ветер не имел направления. Поэтому и облака над ними висели неподвижной темно-синей завесой. И луна, почти народившаяся, спряталась за облачной толщей, и лишь изредка ее смутные очертания показывались то в одном, то в другом тускловатом просвете.

Трофимко перед рассветом все же задремал. Его разбудил выстрел.

Звук промчался над ним, ударил о стену прибрежного леса и хлестким эхом вернулся обратно.

Он выскочил из карбаса с винтовкой в руках, какое-то время вращал головой, таращил глаза по сторонам.

«Где же отец? Откуда он стрелял? По кому?»

А тот сидел на корточках перед тушей убитого тюленя и разделявал его – снимал шкуру. В правой руке, привыкшей к такой работе, тускло мелькала серебряная полоска острого рыбацкого ножика. Пальцы левой скользили по краю снятой шкуры, тонули в жестком окровавленном мехе и в толще сала, хранящем тепло только что убитого животного.

- Подь-ко сюды, Трофимко, - замахал он рукой. – Вишь, сын, мы уж с тобой не нагурьи.

Отец убил крупного морского тюленя – лахтака. Был он довольнешенек оттого, что выстрел был удачен и что предстоит, скорее всего, хорошая охота. И лицо его, обветренное, оттого багровое, подзаросшее щетиной, радостно кособочилось.

- Понимашь ты, - выговаривал он, еще не утихомирив возбуждения, - я из карбаса-та вымырнул, только ступил к морю, хотел позырить чего да как тут деече, а он, гляди-косе, полеживат на кромочки-то. Вот же, ёкэлэмэне! Меня увидел, хотел в воду мырнуть, ну а я его тут-то голубеюшка и того... Не поспел он...

Он радовался и снимал шкуру.

- Давай –ко ты, Трофимушко, - дал он команду, - пробегись молодым-то делом по льдинке-то етой. Можя каку малявину и выглядишь. А я тутю-где юрок сготовлю. Можя ишше пальнем кого.

Трофим взял из лодки бинокль и пошел вдоль морской кромки. В разных местах издали разглядел еще шесть штук тюленей. Но все лежали на ровных местах. К ним было не подойти на выстрел. Только поодаль от одной нерпы возвышался над ровной как стол ледяной поверхностью ропак – груда расколотых о камни льдин.

Из-за этой кучи он и подкрался к нерпе...

Сам снял шкуру и приволок ее к становищу.

- О-о, уж две шкурки прибавилось. Так мы тебе на дом и настроляем, ёкэлэмэне, - радовался отец. Он вскочил с борта лодки возбужденный, прихлопнул в ладоши, в прищуренных глазах посверкивали тускловатые, радостные искры...

- Давай-ко, Трофимушко, сполоснем это дело. Чайку пора приспела глнуть. А как же, чаю не пила – работа не мила. Меня, брат, тошшак пробрал.

Они поставили на лед «квадратиком» короткие деревянные чурбачки, накрыли их сверху толстым железным листом, вырубленным из старой бензиновой бочки, уложили на него полешки, подложили под них берестинку, и вот уже горит перед ними костерок.

Согрели чаек и, расположившись на борту лодки, с превеликим желанием перекусили.

- Теперь можа с голодными равняче, - подытожил Петр Акимович.

Он раскурил неминуемую цыгарку, сидел, оглядывался по сторонам, высматривал что-то на небе, о чем-то, видимо размышлял. Наконец высказал свое решение.

- На ентонь льдинке мы ничего боле не убьем. Надоть други места искать.

Они столкнули лодку на воду и поплыли, загребая четверемя веслами. По темно-серой воде, между редкими ослепительно белыми льдинами.

Охота с лодки интереснее. Тюлени, лежащие на льдинах, как только видят ее, сползают в воду, и их черные головы торчат над поверхностью. Нередко подпускают лодку близко, и тогда становятся легкой добычей меткого стрелка. А Петр Акимович и был таким стрелком.

На войне, в которой довелось ему поучаствовать, вся стрелковая рота уважала «Деда Акимыча», как его именовали однополчане, за выдающееся

умение стрелять. Именно за это и получил он главную свою награду – боевую медаль.

Петра, почти сорокалетнего, давно отбарабанившего свою воинскую повинность, забрали на фронт не сразу, а когда в смертельном горниле первого военного года погибло на передовой и исчезло в бездонной пасти немецкого плена, считай, все боеспособное воинство, когда стали забирать всех, кто мог держать в руках винтовку.

Петр Круглов, старый солдат, воевал умело. Сломая голову под пули и под штыки не лез, но и не особо перед ними прогибался. Бывал в окружении, хаживал в атаки, дважды был ранен, в боях и заслужил высокую солдатскую награду – медаль «За отвагу».

Вот как пришла к нему эта награда.

Однажды их взвод в составе полуроты, будучи на боевом марше, залег перед немецким дзотом. Из жерла боевой точки без устали вырывался оголтелый пулеметный огонь. Упали первые убитые, застонали раненые. Солдаты залегли.

- Кто пасть ему заткнет – орден получит! – дал команду комроты.

У Петра был автомат. Из него как завалишь пулеметчика, когда до него метров сто пятьдесят?

Рядом лежал рядовой солдатик, салага совсем. У него в руках была трехлинейная винтовка, любимое для Петра оружие. Он из этой винтовочки с двухсот метров в голову тюленя попадал на зверобойке. Петр и крикнул командиру роты:

- Товарищ старший лейтенант, а можно мне орден получить?

- Это кто там такой смелый выискался?

- Младший сержант Круглов.

Комроты примолк секунд на пять, потом сказал уверенно и просто:

- Тебе, Петр, можно. Давай, сержант, действуй.

Петр Акимович вытащил винтовку из рук солдатика, спросил:

- Как она бьет?

- Как это как?

- Прицел куда брать, под обрез, в центр, куда?

Для солдатика это был странный вопрос. Он никогда им не задавался. Просто палил по фашистским мордам и все. Солдатик был салагой. Его ответ был исчерпывающим:

- Сильно она бьет, отдача крепко шарахает, прямо назад отбрасывает.

Что тут поделаешь? Петр стащил с плеч вещевой мешок, поставил его перед собой и положил на него винтовку. Пристукнул цевьем пару раз – сделал надежный упор.

Передвинул целик на цифру «150», прицелился. Среди накатанных друг на друга бревен чернело прямоугольное отверстие.

«Дай-то Бог, чтобы у этого молодого придурка мушка была не сбита».

Петр прицелился и выстрелил.

Пулемет заглох.

- Молодец! – заорал комроты, – орден твой, Круглов! Вперед, ребята!

И рота один за другим начала подниматься в атаку. Командир тоже вскочил.

Но пулемет заговорил вновь. Опять западали убитые.

Комроты проехал физиономией по травяному бугорку и, выплевывая землю вместе с кровью, обматерил Петра.

- Из-за тебя люди погибли, - орал он, - стрелок херов, сгною в штрафроте!

А Петру что было делать? Он опять прицелился и выстрелил еще раз. На этот раз пулемет умолк окончательно. И рота пошла вперед, и назначенный населенный пункт был взят.

Потом, после боя, в немецком дзоте нашли двух убитых пулеметчиков. У обоих были дырки во лбу.

Оказалось, что винтовка была исправно.

Круглову же ордена не дали. Почему не дали, никто так и не понял. Зато прислали из штаба дивизии медаль «За отвагу», самую ценную солдатскую медаль.

Но солдаты все же судачили:

- При всех комроты обещал и не выполнил, засранец! Вот и верь нашему старлею.

А командир пехотной роты старший лейтенант Заводилов, сам получивший за тот бой орден Красной Звезды, похаживал потом вокруг Круглова, бил, что называется, хвостом и время от времени посылал ему фляжки с наркомовским спиртом. И взвод, в котором служил Петр, был этому всегда чрезвычайно рад.

Но недолго продолжалась эта удача. Через малое время Заводилов погиб в очередном бою. Известно ведь, что командиры пехотных рот и взводов на войне долго не живут. Опасная у них работа на войне.

А Петра чуть ли не силой потом заставляли идти в снайперы.

- Будешь, - говорили ему охотиться на фрицев. Только не в составе роты, а отдельно, самостоятельно.

Ему не хотелось «самостоятельно». Он любил свою пехотную братву, солдатушек, каждый день глядящих в глаза смерти. Людей простых, прямых и отчаянных, как и он сам.

Старший сержант Петр Акимович Круглов был тяжело ранен в августе 1943 года в боях за освобождение советской Украины и после длительного лечения в госпиталях был признан негодным к дальнейшему прохождению военной службы и отправлен на долечивание к себе на родину.

И Трофиму Круглову, сыну его, тоже довелось повоевать. Только в самом конце, когда война с немцами уже закончилась и началась другая, тоже кровавая и безжалостная – война с Японией.

Трофим попал на нее совсем мальчишкой. Было ему семнадцать с небольшим. Но в военкомате по его просьбе приписали год: в сорок пятом почти не осталось парней подходящего для войны возраста и комиссариаты изворачивались как могли. Трофимке такое решение было по душе: на войну он рвался давно.

Ему, как и отцу, тоже хватило лиха. Служил он на торпедном катере рулевым, на Тихоокеанском флоте. Хаживал в смертельные атаки. Впрочем, торпедный катер в другие атаки и не ходит.

Подкрадывается это боевое суденышко к вражескому кораблю на максимально близкое расстояние, выскакивает из-за мыса, или из-за острова, лучше всего со стороны солнца. Или выныривает из тумана и на страшной скорости летит к своей цели. Водяная пыль, брызги расшвыриваются метров на пятьдесят вокруг. Каждая секунда для команды катера сопоставима в момент его атаки с вечностью. Почему? Да потому, что вся команда корабля противника лупит по катеру из всех своих пушек, пулеметов, винтовок, из всего, что может стрелять. Даже скорострельные корабельные зенитки трещат по катеру что есть мочи.

Огонь этот страшный, проскочить его невредимым удастся редко кому.

И летит наш маленький кораблик, для легкости сшитый из дерева, летит беззащитный с развевающимся русским военно-морским флагом навстречу своей гибели или матросской славе.

Он обязан подойти как можно ближе и наверняка выпустить по врагу две торпеды с обоих бортов. Если не выпустит, или не попадет во вражеское судно, или необоснованно покинет место боя, командира катера ждет трибунал.

В одном таком бою катер, где служил Трофим, прорвался через огонь, получив, правда, множество пробоин, ударил торпедами по японскому фрегату, отчего у того взлетели на воздух оружейные отсеки и уже развернулся, уже удирал, но погибающие японские матросы продолжали стрелять из орудий по потопившему их корабль русскому катеру. Катер вихлял корпусом, уходя от снарядов. Но один из них все же достал суденышко...

Спаслись двое: матрос-торпедист Сергей Волокитин и матрос-рулевой Трофим Круглов. Их выбросило за борт взрывной волной.

Они долго бултыхались в воде, держась за деревянные обломки, стараясь быть поближе друг к другу. Слышали, как радостно визжали японские матросы, увидевшие гибель русского катера. Потом эти радостные вопли перешли в предсмертные крики... Потом все стихло.

А матросов Волокитина и Круглова ранним утром следующего дня разыскал такой же катер, посланный на их поиски, и матросов, продрогших, полумертвых от страха и усталости, доставил на базу.

Трофим и потом участвовал в боевых рейдах. Домой он вернулся в сорок седьмом году с медалями и с боевым орденом.

Но с тех пор стал он люто бояться воды. И никогда не купался в море.

## 8

Вернувшись с военной службы, Трофим Круглов не долго хаживал в женихах.

Он устроился на работу в лесное хозяйство и был крепко загружен. Очистка леса, вырубка и обустройство просек, учет хвойных и лиственных пород деревьев, борьба с браконьерами, разметка участков для вырубки – все это требовало уйму времени и совсем уж не способствовало деликатному и тонкому делу – поиску спутницы жизни. Уйдя по делам в лес, он частенько застревал там, неделями жил в лесных избах, а то и просто ночевал под елками, да соснами.

Особенно любил он бывать на озере Долгом, в своей избе. Там стены и углы пахли по-особенному. Эту избу они срубили с отцом перед самой войной. И озеро было ловчивое: рыбы в нем вдосталь, и дичь вокруг водилась. Пара свободных дней – и Трофим убегал из деревни на свое озеро, в свою избу. Там отдыхал душой. Да и отец его, Петр Акимович, охоч был до рубленной им избушки. Всегда уж ладился побывать там вместе с Трофимом.

Доставали они из пестерька вечером заветную бутылочку, да и выпивали по одной, потом по другой... Под свежую ушку. Горела на столике

свечечка, постреливала фитильком, а отец с сыном вели и вели задушевную беседку.

Деваться, однако, куда? В деревне мужику нельзя без женки. Люди не понимают, ежели по-другому. Надлежит создать семью, продолжить род, фамилию. Так полагается.

А Трофимко все чего-то тянул, да тянул.

Петру Акимовичу, батьке, это дело надоело.

- Че ты, Трофимко кобениссе, ёкэлэмэне? По сторонам зыркашь, да физию свою воротишь? А Танька наша што дурне других? Поглянь-ко на девку-то, огудан. Все в ей ладно, в Таньке-то нашей. Красава она выходит, ёкэлэмэне. Чем не женка тебе!

Татьяна приходилась родной дочерью Петра Акимовича и жены его Анисьи. Единственный их ребенок. Из голенастого гадкого утенка с вечной нелепой челкой и густыми веснушками, не очень-то ее красившими, вытянулась она за войну, оформилась в девичьих формах и невообразимо украсилась прелестями, которыми Матушка Природа одаривает женскую половину человечества в предзамужний период. Соки зрелости переполняли ее очаровательное тельце. Красоткой стала, чего там говорить. Трофимко и сам поглядывал на нее мужскими глазами. Да не смел высказать, что крепко нравится она ему.

- Папа, дак ведь она сестра мне, как же мне на сестры-то? Детство ведь вместе провели.

- Сестра да не совсем, сам ето знашь. Кровинушки единой нету, значит, можно.

Сказал, как отрезал. Считай, что приказал.

И женился Трофим на Татьяне, и зажили они счастливо.

В самом начале беременности жены как-то за ужином Трофим сказал всей семье:

- Нам бы с Таней дом построить. А то живем у вас как нахлебники каки.

Петр Акимович крякнул, недобро глянул на сына, отложил в сторону ложку и пошел к печке курить. Все молчали. Отец глубоко, надрывисто вздохнул, покачал головой и сказал:

- Ты, сын, говори, да не заговаривайся. Куда эт ты от батьки с маткой умильнуть хошь? Али гонит тебя хто? Мы тебе не чужи люди всяко, живи да живи. Можа обида кака?

Трофим тоже прекратил свой ужин, оглядел стол, мать, отца, глянул на жену Татьяну. Та сидела рядышком, потупив взор, изредка поглядывая на мужа:

- Не в ентом дело, папа. Мы же любим вас, родителей, страхи Божьи как. Да ты сам-то посуди, мы рожать собрались с Таней, детки у нас скоро пойдут. Дом-то свой не худо завести, хозяйство свое како-никако. Ты же, папа, понимать должен ето дело. Мужик я, аль нет? Живем, как кусочники каки у вас.

Отец с матерью ничего тогда толком не ответили.

Но наутро, перед уходом на работу Петр Акимович остановился перед сыном:

- Подумал я, сынок, покумекал. Прав ты, конечно, надо дом свой править.

Трофим не выдержал, от великой радости, что вопрос разрешился, склонил голову и зашмыгал носом. Отец шагнул к нему, приобнял за плечи и повел к бревнышку, что лежало у крылечка, усадил. И сказал серьезно:

- Копейку бы надоть заробить, сын. На дом деньги нужны будут. Доски, столярка, стекла, рамы, то-се...

Отец и придумал, где их взять.

- Надо сходить, - сказал он, - пару-тройку раз на зверобойку и сдать в колхоз шкуры да сало. На их и заработам. В цене они чичас, сам знашь...

Они шли и шли по воде на своей лодочке, тихонько работая веслами, выглядывая в бинокль тюленей в воде и на льдинах. Мелкие льдинки расталкивали корпусом лодки, большие глыбины огибали.

Вот еще две шкуры лежат на льдинах, вывешены на ропаках, чтобы не потерять их потом, заметить издали на обратном пути. Тюленей убил в воде Петр Акимович. Стрелял, как всегда, по-снайперски, с руки, с дальней дистанции. Ни разу не промахнулся.

Трофим глядел на него и на его стрельбу с радостно вытаращенными глазами. Он не переставал восхищаться отцом, его ладными, осмысленными действиями, его поморской сноровкой.

Впереди показалось широченное ледяное поле. Трофим привстал, взгляделся в очертания кромок и невооруженным глазом разглядел на белом фоне несколько темных пятен. Это были тюлени, отдыхающие на лежках. На этой огромной льдине присутствовало очевидное преимущество перед многими другими: тут и там высились рваные вздыбленные ледяные кучи – ропаки – надежные укрытия при скрадывании зверя.

На лодке подплывать бесполезно: тюлени уйдут со льда в воду, как только увидят ее вдали. Они подошли к краю глыбы, выдернули лодку на лед и решили разделиться. Отец пойдет по левому краю, сын – по правому. Каждый будет охотиться самостоятельно, чтобы не мешать друг другу. Так больше шансов на успех.

Петр Акимович выглядел в бинокль крупного тюленя, лежащего на самой ледяной кромке. Судя по цвету шкуры это был не лахтак, который почти всегда черный. Светло-серый оттенок волоса, покрытый сверху и с боков нарядным темным пятном, говорил о том, что там, впереди, греет бока о тусклое солнышко гость из Ледовитого океана – громадный гренландский тюлень, называемый у поморов лысуном, самец утельги.

- Эх ты, удача! – подумал охотник. – Не упустить бы его. Осторожен, окаянной.

Трофимко уже утопал в свою сторону. Петр Акимович забрал из лодки гарпун-кутило, привычно намотал крупными, длинными кольцами на левое

плечо веревку, привязанную к деревянной гарпунной ручке, конец веревки закрепил крепким узлом к кожаному поясу.

И пошел потихоньку туда, к лысуну.

Как никогда он волновался. Лысун – редкая добыча в этих местах. Тюлень этот здесь не живет. Только редкий зверь, отбившийся от стаи, от мест лежек заплывает сюда в погоне за косяками сайки, наваги и трески.

А громадный он какой! А сала сколько! И шкура у него дорогая не в пример нерпе.

Петр Акимович шел как бы мимо лысуна. Потихоньку шел, внаклонку, чтобы не спугнуть резкими движениями, шагал в отдалении, метрах в ста. Пока между ним и лысуном не возник ледяной ропак.

Тюлень скрылся из виду.

Добытчик остановился, выпрямился и перевел дух, отдышался. Теперь надо идти прямо к зверю, укрываясь за ледяной кучей. Идти ровно-ровно, прямо к ропaku. Иначе тюлень разглядит опасное для него движение и соскользнет в воду.

Десять метров пройдено, двадцать... Вот и сам ропак, вздыбившиеся кверху расколотые глыбины. Охотник перед ним опустил на колени – так ему проще будет действовать дальше. Он прислонил к льдине винтовку, отдышался – нельзя стрелять без ровного дыхания. Теперь бы не закашляться: привычка курить может подвести. На тюленя он пока не глядел, он знал, что тот лежит там, где и был. Совсем близко, метрах в сорока.

Стараясь не щелкать металлом о металл, снял предохранитель, выставил вперед ствол, аккуратно, бесшумно положил цевье на выступавший сбоку острый ледяной краешек, приладил приклад к плечу и только тогда вместе со своей изготовленной винтовкой перенес колени и все тело вправо.

Перед ним отчетливым, гигантским, пестрым пятном, словно на картинке из детской книжки, выделялся на ледяной кромке огромный тюлень. Был он окружен сиянием ослепительно-белого, с легкой голубизной блестящего льда. За ним тяжелой, тускло мерцающей синей массой распростерлось бескрайнее пространство морской воды, ощерившееся плавающими в ней льдинами со сколотыми краями. Сам тюлень на этом

фоне виделся яркой, светло-серой живой глыбой, которую природа сверху украсила затейливой, похожей на лиру черной татуировкой.

Вблизи этот громадный океанский тюлень выглядел невероятно величаво, казался монументальным олицетворением дивного чуда жизни.

«Экой ты баской», - подумал Петр Акимович, и что-то вроде жалости шевельнулось в его душе.

Он опустил голову на вытянутую вперед руку. Стрелять по чудесной картине ему не хотелось. Полежал с закрытыми глазами. Потом все же отрешился от нахлынувшего чувства:

«Старось приходит видно, вот она и жалось»...

Заботы о доме для сына и для дочки перебороли чувство жалости. И Петр Акимович прицелился.

А тюлень спал. Ему мирно дремалось под тихо и ровно греющим солнышком начала весны. На этой дремотной льдине, где для него не существовало никаких врагов.

Петр Акимович выстрелил ему в бок.

Он был уверен, что разрывной пули из такой сильной винтовки, как трехлинейка вполне достаточно одного меткого выстрела в туловище для любого морского зверя.

Тюлень от выстрела свалился в воду.

Петр Акимович подбежал к краю льдины и увидел, что лысун, тяжело ворочаясь, плавает на поверхности метрах в полутора от краешка льда.

«Хватит ему», - подумал промысловик и спокойно отмотал изрядную часть веревки со своего плеча. Привычная работа на зверобойной охоте: чтобы достать из воды раненого или убитого тюленя, в него швыряется гарпун-кутило и туша за веревку подтаскивается к охотнику.

Он так и сделал. И вот из бока лысуна уже торчит метко и сильно всаженный гарпун, сам тюлень перестал уже двигаться, и туша потихоньку, медленно подтаскивается к льдине.

«Хорошо пулька моя прошла, метно», - удовлетворенно размышлял Петр Акимович.

Теперь пора звать на подмогу сына. Без него с эдакой тяжестью не справиться, не вытащить на лед одному. Он повернулся в ту сторону, где тот должен был быть. Увидел его сразу, на другом краю льдины метрах в двухстах, замахал рукой, закричал:

- Подь-ко сюды, Трофимушко, подь-ко, паря-я!

И Трофимко зашагал к отцу быстрой походкой, с радостным лицом.

«Вот же, батя, вот же добытчик,- напевало его сердце, - как выстрел, дак и удача сразу! Вся-то жись вот так!»

Он поскользнулся.

Подвела лужица, засыпанная снегом. Вернее, гладкий лед, сковавший ее ночью и не успевший растаять до сей поры.

Торопясь к отцу, Трофим ненароком ступил на этот лед, и ноги его поехали вперед, а тело – назад. Он упал на спину и довольно сильно ударился затылком о ледяную поверхность.

Лежал он без сознания, наверно, какие-то секунды, а, когда очнулся и открыл глаза, то не увидел отца в том месте, где он раньше был...

Может, он в другой точке, может, потерялся ориентир?

Трофим лихорадочно рыскал глазами по очертаниям льдины, но отца нигде не разглядел. Вон тот ропок, к которому он шел, но отца там не было...

Страшная догадка молнией пронзила все тело, перехватила дыхание: если отца нет на льду, значит он в воде!

Трофим поднялся на карачки и так, на четвереньках, прыгнул к винтовке, отброшенной в момент падения. Схватил ее и что было сил побежал к ледяной кромке.

«Ну, чего торчать на ногах без толку? Трофимке шагать по льду ишше минуток семь, не меньше». – Петр Акимович привычными движениями полез за куревом. В одном кармане бумажка для сигарки, в другом – кисет с махрой...

Он терпеть не мог всякие там вошедшие в моду папироски, да сигаретки. Трубочки, с неизвестно откуда взятой табачиной. То ли мусор какой, то ли взаправду табак? Хрена с два разберешь. А курить их? Пару раз дых, да пых – вот тебе и вся трубочка. Стыдоба одна... А тут, товарищи дорогие, жирная махра, проверенная, так сказать, в боях. Сам отмерил сколько надо, сам отсыпал из пригоршни, сам скрутил толстенную цыгарку... А запах-то какой, братцы вы мои! Густой, ядреный, привычный. Считаю, родной и близкий, свой, деревенский запах. В бытность на войне, Петр Акимович доставал из кармана кисет, и на него веяло родным домом. Будто по деревенской улице прошелся.

Ласковыми, мягкими движениями пальцев он уже крутил эту самую цыгарку, поглядывал на приближающегося сына, когда неожиданный, сильный удар сбил его с ног. Его швырнуло назад, и он упал навзничь, спиной рухнул в воду. Охотника сдернул со льда лысун, вдруг оживший, бьющийся в предсмертных судорогах. Подвела веревка, накрученная вокруг плеча.

Оказавшись в воде, он не почувствовал страха и даже какой-либо опасности. Не успел почувствовать. Зато нахлынул лютый холод ледяной воды, мгновенно пропитавшей одежду, и стальными пластинами легли вдоль и поперек тела страшные судороги, сковавшие, сделавшие неподвижными мышцы. Его окружила глубина, в которой невозможно было дышать, и соль. Во рту, в носу, в глазах...

Он вынырнул. Голова его какое-то время, голая, без шапки, качалась и крутилась над водой.

Лысун тянул его вниз, в глубину, под воду. Петр Акимович сделал попытку превозмочь паралич судорог, закаменивших тело, и нечеловеческая попытка эта почти удалась. Правой рукой он начал раскрутку веревки, намотанной на левом плече, попытался сбросить ее, освободиться от

страшной силы, тянущей вниз, в глубину. Это дало возможность еще какое-то время побыть на плаву, не тонуть. Но тяжесть огромного тюленя была непреодолима. Он не успевал раскручивать веревку, сдавившую петлями руку и плечо, не успевал...

И тогда он понял, что погибает.

«Где же сын-то мой, где Трофимко? Помогет мне всяко уж, не может не помочь. – соображал промысловик в предгибельных попытках не уйти под воду. – Не бросит же батька своего на беду на такую».

И эта надежда какое-то время тоже поддерживала его на поверхности.

Но силы наконец оставили его. Тяжела была намокшая зимняя одежда, и невероятно тяжел был груз, тянущий его вниз, на морское дно.

Последнее, что увидел Петр Акимович в своей жизни, уже уходя под воду, уже из-под воды, – это лицо своего сына Трофимки, подбегавшего к краю льдины. На нем, на этом лице, было выражение смертельного ужаса. И вытаращенные глаза и маска отчаяния и бессилия.

Он ушел на дно с распахнутым в крике ртом. Не успев высказать своему сыну какие-то очень важные предсмертные слова.

## 13

Трофим опоздал. Последнее, что он увидел, были уходящие под воду ноги отца.

И прыгнуть в воду и вытащить отца из полыньи ему не довелось.

Спасти его не успел. Самого близкого в мире человека.

Трофим не мог стоять. Он сел на лед, потом лег. Лежал и глядел на небо. И ничего там не видел. Как ворвавшийся в избу шторм и все в ней сломавший, сорвавший двери, нахлынуло на него осознание: отец погиб из-за него, из-за того, он, Трофим, не пособил ему в смертельную минуту! Не пришел на помощь человеку, бывшему для него самым родным из всех живущих на Земле людей.

Трофим не хотел, не мог себя оправдывать.

Он не успел! Но почему же так медленно шагал, когда отец позвал его? Отцу было трудно одному, он не зря обратился к сыну за помощью. А он, его сын, в ответ на эту просьбу вышагивал легкой походкой бездельника.

Он поскользнулся и упал! Но почему он был так небрежен, почему не глядел под ноги в ответственный момент? Когда надо было спешить! Почему долго нежился на льду, когда надо было вскочить и бежать?

Он бы прыгнул в воду и спас тонущего своего отца. Перерезал бы проклятую, погубившую его веревку. Просто подставил бы плечо, протянул руку. Вместе они бы справились, подплыли бы вместе к льдине, ведь она была совсем рядом.

А он подло опоздал. Не успел. И отец погиб из-за него.

Пришедшие к нему мысли ошеломили его.

И разрушили его желание жить.

Трофимко перешел в лодку, оттолкнулся от льда веслом и растянулся на досках, прикрывающих дно. Он решил больше не вставать и не выходить из лодки к людям. Сама мысль о том, что придется жить с осознанием своей вины показалась ему невыносимой. Он понимал, что такой тяжеленный груз ему не вынести, груз этот раздавит его.

Трофимко решил умереть здесь, где погиб его отец.

## 14

Прошли сутки. Потом еще половина суток. Он лежал на дне лодки и в самом деле умирал, потому, что за все это время ничего ни пил, ни ел и оттого, что лежал без движения на морозе, совершенно окоченел.

Его нашла жена Татьяна.

Беременная на шестом месяце, она не смогла больше ждать со зверобойки отца и мужа и пошла их искать.

Уже к вечеру отыскала она во льдах лодочку, которая качалась около кромки большой льдины.

На дне лодки лежал ее муж с белым, как снег, лицом, со льдинками под глазами.

Она долго оттирала рукавицами почти уж бездыханное тело мужа. При это истерически, во весь свой звонкий голос, кричала что-то бессвязное, и ругательное, и ласкательное. Упрашивала его, чтобы не помирал «окаянной», да «родимой».

Он и не помер. Он с трудом разлепил свои веки и прошептал жене:

- Ты откуда взялась, Таня? Зачем пришла?

Татьяна сильно обрадовалась, что муженек-то ее живой, и заголосила вперемежку со слезами:

- Трофимушко-о! Че ты в карбаси-то полеживашь, голубеюшко ты мой? Че домой-то не иде-ешь? Помрешь ведь туто-где-е.

- Я и хочу, Таня, помереть, - зашевелил губами Трофим, - не хочче болеть мне, не хочче.

А Татьяна и радовалась и волновалась бесконечно, очень было жаль ей своего мужа, хотелось, чтобы Трофимушко воспрял побыстрее, очнулся от какой-то беды, вдруг со страшной тяжестью обрушившейся на него. Она не знала какой, и выла, и выла. Ее плач разбудил бы любого.

- Ошалел совсем уж, глу-у-пой какой! А женку-то свою тебе не жалко-о! Помрешь, шалько, дак и я вослед. Не понимаешь чел-и-и? Женка-та, поглянь, вон у ты кака красава любяшша. Подитко-се поиши другу такую. Найдешь равзе? Не в жи-ись!

Она кричала и продолжала с силой разглаживать тело супруга.

- Вон он полеживат, кабуди дела ему нету-у. Кабуди ушкуй в берлоги. А маленькой скоро появичче, ты об ем-то подумал, шалевато-ой? А-а, в умах не води-ишь. Родичче, дак че у меня, у матки, спроси-ит? Где мой батько-о? А батько вон, оглупел совсем... Полежива-ат... Че отвечу сыночку-то своему-у?..

Трофим молчал, и Татьяна, не переставая реветь раненой медведицей, сквозь всхлипы спросила его:

- А где папа-то мой?

Муж ничего не ответил, горько сморщил лицо и отвернулся. Закрыв глаза.

Татьяна поняла, что произошло что-то совсем уж бедовое, завывала с причитаниями, так, как издревле воют поморки над покойниками.

Потом она долго пыталась растормошить мужа, чтобы тот наконец поднялся и пошел вместе с ней в деревню. Но он подняться не смог или не захотел. Татьяна сбросила фуфайку, кофту и легла на него всем телом. Она отогревала мужа своим теплом, отогревала, и растирала тело его сильными своими руками и растирала... Когда уже поплыли надо льдом сиреневатые сумерки, она своей шерстяной кофтой обернула грудь и живот Трофима и накрыла его, чем только можно было накрыть: досками, рюкзаками, брезентом. Она набросила на свои плечи старенькую фуфайку, закрепила конец лодочной веревки за ледяной ропак, чтобы лодку не угнал куда-нибудь ветер, и побежала домой.

Перед этим горячо расцеловала мужа и пообещала:

- Не горюй тут, Трофимушко, я чичас возвернусь.

Уже ночью она ворвалась в дом председателя колхоза, растормошила его спящего и рассказала ему, перепуганному то страшное, что случилось с ее мужем и с отцом.

- Да, дева, надоть коня запрягать, да ехать. Не помер бы мужик-от, справной он, Трофим. Мороз промежду льдов-то чичас, всяко знам, - всполошился председатель.

Сам он староват уже был для ночных походов, но оделся и отвел Татьяну к бригадиру Михаилу Серухину. Тот организовал все остальное, сам запряг колхозную лошадку и, сев вместе с Татьяной в сани, поехал спасать Трофима Круглова.

Дома Трофим с неделю лежал на спине и глядел в потолок. Ни с кем не разговаривал.

Потом он ушел в запой.

Из дома никуда не выходил, не удивлял людей своим беспамятством. А лишь бродил по передней комнате, где стояла его кровать, да посиживал у окошка, из которого виднелась морская даль. Долго вглядывался в нее воспаленными, невыспавшимися, пьяными глазами и напевал какую-то бессвязную, бестолковую мелодию. Трофим, наверно, и сам не знал, какую.

И все время пил и пил брагу, которую в деревне, в разных домах ему доставала Татьяна. Татьяна не перечила в этом мужу, подспудным женским чутьем понимала она, что с ее Трофимушкой произошла какая-то беда, что ему сейчас это нужно.

Трофим сидел нетвердо, иногда соскальзывал на пол и лежал на полу и протяжно стонал. Потом на четвереньках добирался до кровати, притулялся на ее краешке и плакал с легким подвыванием и кулаками вытирал глаза.

А Татьяна ходила со своим пузом по деревне сама не своя. Люди жалели ее и Трофима жалели, останавливали ее и интересовались:

- Каков он, Трофимушко-то, можа спомога кака треба тебе, Таня? Скажи, дева, дак помогем всяко уж. Мужика-та жа-алко ведь!

Татьяна растопыривала руки и не знала, чего и сказать. Не понимала она, чего тут можно сделать.

Дней через девять к Трофиму пришел старый друг отца Созон Степанович Новожилов, придвинул стульчик. Налил себе и Трофиму по стакану браги, завел разговор.

- Вся деревня сказыват, чижало тебе чичас, парнишко. Мы двоим с тобой туто-где, ты скажи-ко мне, што у тебя, да как, облегчи душу свою. Вот и полегчат тебе, паря. А у мя на рте замок висит, сам ето знашь. Никому ни гугу. Ежли сам, конечно, не попросишь.

Трофим выглотал тот стакан и вдруг разрыдался. И посреди рыданий поведал, что произошло.

- Опоздал я, Степаныч, на евонную гибель! Предал я отца свово. Мог бы поспеть, а сам опоздал. Бессовесна рожа у мя, вот што. Из-за того и пьянствую, не знаю, как и жить дальше-то... Можа и не надо уж... Все он стоит перед глазами, как под воду уходит... Батько мой... Думашь, легко мне чичас?.. Стра-ашно мне, да и жалко ево...

Он пристукнул донышком стакана о табуретку.

- Я таперича жить не желаю, Степаныч, вот оно как...

А Созон Новожилов, мудрый помор, старый зверобойщик посидел, помолчал с хмурым видом, скрипнул остатними зубьями и задал на первый взгляд бестолковый вопрос:

- Скоро ли ты, Троша поспешал к батьку-ту?

Трофим аж взвился весь:

- В том и дело-то, Созон Степаныч, што не бежал я к ему, к отцу моему, а, считай, полз на карачках. В том-то и дело! Время потерял!

Новожилов такого ответа как-будто и ждал:

- Вот уж не поверю ни в жись, што ты, Троха, батька свово не уважал. И никто в деревни не поверит в ето. Сказывай мне, как корешу батькову: из-за чего опоздал?

Он плеснул себе еще. Трофиму не налил. Тот сидел и помалкивал, только голову пьяную закручинил. Приподнял ее наконец, горько признался:

- Упал я, головой стукнулся об лед.

А Созон Степанович залпом выглотнул брагу, обильно крякнул и вытер локтем рот.

- Вот ето, Трофимко, и требовалось услышать. Ты же самолучший мужик, едри тя, герой – штаны с дырой. Чего же ты, дурья головушка, себя так клянешь, коли не виноват совсем? А вот ежели чичас, по разумению, так сказать, торопилси бы ты к батьку, коли така беда?

Трофим выпрямил голову, блеснул глазами над набрякшими от долгой пьянки подглазниками, высказался твердо, словно давал сейчас смертельную клятву перед Партией и Родиной:

- Я, дядя Созон, счас бы быстрее любого козла запрыгал бы, коли знатье...

И с хрустом стиснул кулаки.

Новожилов хряпнул еще стакан браги, потрянул тяжелой шевелюрой, подытожил:

- Вишь вот, Трофим, верно решенье не сразу приходит. Так бывает.

А Трофим закручинился вдруг, сидел с опущенной пьяной головой. Заботили его какие-то тягостные думы.

- Все-равно, - сказал он, - не прав я был. Не снимаю я вины своей.

Новожилов посидел еще, покачался на стуле.

- Ну, вот што, брат ты мой, Трофимушко, я тебе скажу. Прекрашай ты пьянку свою. Себя не позорь и людей не смехи. Выходи в деревню, к народу, работа тебя ждет. Хватит уже дурака-та ломать.

Перед уходом сказал:

- А не вижу я тут твоей вины, парнишко. Не знаю, как бы я сам прыгал на твоём-то мести. Когда беды нету ишше, чего скакать?

И ушел.

## 16

Трофим стал выходить на работу. Начал опять привыкать к жизни, к людям. Спасал его лес.

В нем проходило его время. Вот уже родился сыночек Петенька, и рос, драгоценный камушек, и уж топал ножками по лужайке около дома. И уже второй раз понесла жена Татьяна очередную прибавку для семьи...

Лес всегда казался Трофиму со стороны непреодолимой стеной, куда для людей нет входа. Но когда он приближался к этой стене, лес всегда распахивал перед ним свои двери, и Трофим входил в них, словно в таинственный храм, наполненный всяческими загадками, чудными делами.

Кроны деревьев смыкались над ним, и в раскинувшемся над головой зеленом пологие все время стоял какой-то звон, веселый шум. Там жили и звенели неугомонные птицы, скакали с дерева на дерево белки и куницы, пошумливали от ветра листва и хвоя.

Внизу, под деревьями, властвовал другой мир, особенный, населенный всякими зверушками, змейками, лягушками, ящерками. Царство деревьев прерывалось озерами и реками, в которых жило множество разнообразных рыб.

Трофим, проработавший уже много времени в лесничестве, не переставал удивляться этой другой жизни, так не похожей на жизнь людей. Он страсть как любил посиживать где-нибудь на бугорке или пенечке и разглядывать этот, свой Лес.

Все в жизни ладилось. Создалась у него семья, и жили они в новом, построенном им доме. Жили-поживали рядом с ним бесконечно любимые люди – ненаглядная женушка Татьяна и родная кровинушка – сыночек Петенька, как две капельки воды схожий с ним, с Трофимом.

И, как душевная память о благостных годах, когда рядом с ними был отец Петр Акимович, жила в их доме жена его, Танина и Трофимова мама, Анисья Николаевна, а теперь бесценная бабушка Петеньки, заботливая его нянюшка и потакальщица детских его причуд и шалостей.

Только вот незадача: как воткнутая в душу заноза, как неминуемая сердечная болезнь не покидала его зловредная мысль о том, есть и его вина в гибели отца. И мысль эта паскудная, зловредная острой бритвой полосовала сердце, не давала спокойно жить.

И в шепоте листьев, и в шуме ветра, и в рокоте ручья слышал он отцовский голос, повсюду стояло перед ним его лицо и его глаза, уходившие под воду, заглядывающие прямо в душу.

Вина его, сыновья вина, неразрывно, неотвязно жила рядом с ним. И дремала с ним рядом на подушке, и нашептывала по ночам тяжелые, страшные сны.

Лес и избавил его от тяжелой этой болезни. Через страдания и испытания, но спас.

Ходил Тимофей на озеро на свое, на Долгое, поздней осенью. Ходил, чтобы по перволедку поставить там рюжу. Знамо дело: в первый лед - самолучшая рыбалка. Да и снегу в лесу пока не навалило горы непролазные, можно выбирать любой путь.

Когда шел на лыжах вперед – надо же – дорогу ему пересек заяц. Летел он пулей, прыжки метров по пять. Срывая с плеча свою «двадцатку», Трофим понял: зайчишка от кого-то убегает. И впрямь, следом за ним вывалила из леса странная зверюга – ни волк, ни медведь, ни собака, а что-то среднее между ними, темно-коричневое и дикое. Зверюга просто-таки летела над снегом.

Трофим только и успел сообразить: это росомаха! Страшный зверь, которого в лесу боятся все, даже медведи.

Конечно, было бы у него хотя бы несколько секунд на принятие решения, он бы ни за что не выстрелил. Это похоже на безумие - стрелять не из винтовки, а из дробовика по самому опасному зверю, да еще мелкой дробью, да без прицеливания, навскидку, что называется «влет»! Но у него было только мгновение, и он сделал этот выстрел. Машинально, без подготовки, наобум! Он поступил так, как бы это сделал всякий охотник. Но поступил необдуманно. Он сделал ошибку.

Росомаха как-будто и не заметила ничего. Промчалась мимо, да и все.

Трофим все же подошел к тому месту, куда легла дробь. Вот они – черточки на снегу от дробинки. Прошел по следу маленько вперед...

Вот на снегу выбитые его зарядом волоски росомахиной шерсти. Темно-коричневые, длинные...

Вот и кровь.

Вдоль следа бегущего зверя краснели на снегу капельки ярко-красного цвета.

«Подранил я ее или же кокнул? – поразмышлял Трофим и прошел по следам еще метров пятьдесят. Нет, махи оставались длинными и ровными. – Подранил, значит, только, зацепил... Пусь ее... Надоть на озеро попадать, дни коротки таперича».

И он ушел.

## 18

На озере, пока вырубал во льду иорданы, пока путался со снастью, загонял ее под лед, день и закончился, последний свет уплыл за солнцем за темный лес. Быстро напозла темень конца ноября.

В избе привычными спорыми движениями растопил печку – благо в печном простенке сухие, давно наготовленные дрова, перекусил, глотнул горячего чайку и улегся на нары.

И вот спит Трофим-поспит на постельке своей лесной, и снится ему вполночи, а может и взаправду, слышит он явственно, что поскрипывает лавочка, стоящая вдоль стола. А потом и дыхание расслышал и вздохи легкие. Трофим глаза не открыл, не глянул в ту сторону: очень уж жутковато было ему слышать все эти звуки. Он еще подумал:

«Вот кто-то пришел ко мне. А как в избу-то зашел? Изба ведь на крючке зашшелнута?»

И услышал он голос, спокойный, ровный, будто даже какой-то сонный, очень знакомый голос:

- Это я пришел к тебе, Трофимушко, батько твой. Не пужайся ты меня Христа ради, я ведь с добром к тебе, сам ето знашь.

Потом минуту было молчание, только поскрипывала лавочка. Трофим лежал, отвернувшись к стене, боясь пошевелинуться.

- Порато ты меня тревожишь, сынок, што расстраиваиссе сильно. Зачем ты так переживашь-то? Я ведь сам виноват, што потонул. Не надо мне было тугим узлом себя привязывать к кутилу. Вот отвязать-то и не поспел... Крепко дернул меня лысун... Прости меня, сынок, што эстолько беды навел я на тебя,

да на семью... Поспешал ты ко мне, я это знаю, Трофимушко. Да и опоздал ты взаправду. Нет вины твоей никакой, успокойся ты Христа ради, сыночик...

Опять молчание, и снова лавочкин скрип.

- А прыгнул бы ты, Трофимушко, потонул бы ты, я это знаю. Кто бы внучка мово растил нонеча, Петрушу, в мою честь названного? Кто? Он бы заболел, да и помер без тебя, без батька. И это известно... Скоро у тебя с Танькой дочка народитца, Дарьюшка. Как без тебя?

Потом будто кто-то поднялся с лавочки и, легко пришаркивая, пошел к двери. И у двери сказал:

- А я поглядываю на вас, на детей своих, да и радуюсь...

Дверь слабенько стукнула, и все стихло.

Трофим лежал на спине и ошалело, растопыренными глазами глядел в потолок. Приблизился ему отец, или же в самом деле приходил он к нему? Потом долго сидел на краешке лежанки, пил из кружки холодный чай, осоловело глядел на качающийся фителек горящей свечи и размышлял:

«Конешно, приснилось, не может же в самом деле, едрена бабка... А чего тогда, будто взаправду все? А голос-то батьков, как его-то перепутаешь?»

Он проверил дверной крючок. Дверь была на запоре.

Спозаранку, когда с восточной стороны сквозь вершины елок только-только начал пробрызгивать тускловатый небесный свет, Трофим уже был на озере, «тряс» свою рюжу. За ночь в снасть забежало четырнадцать окуньков и маленькая щучка. Маловато, конечно, чего там говорить, да и то понятно: не летняя пора, откуда теперь, в предзимнюю глухомань, бывать богатому улову? Но и на том спасибо – хватит на уху и на малую жареху. Ему главное – накормить свежей ушкой беременную женушку, ей витаминки требуются, да попотчевать рыбкой сыночка Петеньку. Пускай парнишечка вырастает на свежей рыбке. Глядишь, сам потом рыбачком и сделается.

И когда занимался рюжей, и потом, на обратном пути, Трофим неизменно размышлял о ночном происшествии. Что это было? Сон, или на самом деле отец к нему приходил? Он не видел его, но этот разговор? Этот неподражаемый отцовский голос? Не могло же ему померещиться. Или могло?..

Стоял в лесу легкий морозец. Вовсю на восточной стороне занялось уже солнышко, приподнялось над острыми, темными уголками стоящих в бесконечном ряду елок, оттого на снегу лежали длинные серые тени, пересекали его путь.

Идти было легко. Легкий морозец, прохладный, свежий воздух, пропитанный запахом недавно выпавшего снега, бодрили дыхание, проторенная вчера лыжня обеспечивала хорошее скольжение, и шагал Трофим быстро.

Новое, совсем недавно приобретенное, пусть пока и не полное чувство внутренней свободы распирало грудь. Отец простил его! Отец не держит зла на него! Так отрадно это было понимать. Трофим так ждал этого момента, так ждал! Почему-то он поверил в то, что Петр Акимович приходил к нему в самом деле, и в самом деле беседовал с ним. Наверно, он со своего небесного жилища разглядел, как он страдает, и пришел поддержать, успокоить.

«Батько мой, как же люблю-то я тебя!» - плакала Трофимова душа, плакал он и сам. Шагал на лыжах и рукавицей вытирал мокрые щеки.

И все же не мог Трофим, никак не получалось у него до конца простить самого себя. По-деревенски, по-крестьянски понимал он, что надо бы как-то искупить вину. Но это возможно, когда есть перед кем виниться. Когда стоит перед тобой тот, кому ты навредил, или же обидел, и ты говоришь ему: «Прости ты меня, Христа ради». И человек этот может тебе или в морду дать, или же просто тебя отпустить. Это понятно – это прощение. А когда нет его, как быть тогда? Не перед кем на колени встать...

Искупления нет... Вроде бы прощен уже, а душа не спокойна. Отец извинил его, а вот сам себя он простить никак не может...

«Што тут поделаешь? Как быть-то тут?»

Трофим скользил по нахоженной лыжне и с беспокойным сердцем размышлял. Он понимал: надо перешагнуть какую-то преграду, некий порог, перенести трудности, чтобы душа его очистилась окончательно перед дорогим для него человеком, перед отцом. По выработанной веками древней поморской привычке он изучил истину: надежный результат приходит только после перенесенных испытаний.

Дорогу пересекли его собственные наброды на снегу. Здесь он сворачивал с лыжни, изучал следы убежавшей от него росомахи. Подраненной им росомахи! Вот эта последняя мысль заставила скорехонько скинуть с плеча ружье, переломить его, проверить заряд. Вытащил патрон с мелкой дробью, заряженной на рябчика, вставил в ствол патрон с картечью. Известно каждому охотнику: не приведи, Господи, вступить с этим зверем в единоборство! После медведя росомаха самая сильная, хитрая и коварная в лесу. Обходят стороной ее все. Да и сам косолапый уйдет с ее дороги – в сватке с медведем она не победит, но изорвет тело так своими когтями-крючьями, что долго придется тому потом зализывать рваные раны.

Трофим остановился на самом росомахином следе, рядом с разлапистой елкой, широченной и густой. Поглядел вдаль, туда, куда умчалась вчерашняя зверюга.

«А ну, покажись-ко мне, страшилина, укою тебя чичас. Положу в тебя второй заряд»...

Из-под елки послышалось какое-то шуршание. Легкое, будто ветер маленько вздыбил сухие листья. Трофим скосил туда глаза и чуть не лишился сознания: оттуда, из-под лапinyев показалась коричневая морда и оскаленная пасть. И длинные, крючковатые, желтые клыки...

Он не успел выстрелить, потому что на него обрушилась молния, мгновенная, просто блеснувшая в воздухе коричневым огнем. Пока сдергивал с плеча ружье, пока поднимал ствол, оттягивал курок... Времени ему не хватило.

Росомаха повалила Трофима на снег и стала рвать его тело. Единственно, чего Трофим успел сделать – дотянуться до спускового крючка ружья и нажать его.

Шарахнул выстрел. Он спугнул зверя. Лесные хищники смертельно боятся ружейных выстрелов. Они знают, что этот звук означает гибель.

Росомаха оторвалась от Трофима и бросилась в лес.

Трофим долго лежал на снегу, не шевелясь. Первое время от перенесенного шока, от боли он не мог двигаться. Только стонал и чувствовал, как из порванного в нескольких местах тела струится кровь.

Потом он потерял сознание.

## 20

Сколько он так пролежал, неведомо. Он пришел в себя оттого, что кто-то заставлял его подняться. Этот «кто-то» тормозил его и приподнимал над снегом сильными руками. Так всегда делал отец в раннем Трофимкином детстве, когда будил его, сонного, не могущего никак разорвать ресницы все еще спящих глаз. Он брал его сильными руками за подмышки, поднимал над постелью и ставил на пол. Ласково тряс вихры и приговаривал:

- А ну-ко, в школу собирайсе, солдат. Ать, два! Ать, два!

Вот и сейчас некая сила подняла Трофима, поставила на ноги и подтолкнула вперед. Хотел бы посмотреть он: кто же это, но у него не было сил оглядываться. Он стонал и делал слабые движения вперед. Первые шаги его были длиной в несколько сантиметров. Ему хотелось лечь в снег, потому что из-за навалившейся вялости желание было одно: упасть и не подниматься больше. Силы оставили его.

Но мозг работал четко и правильно. Он подсказывал Трофиму: если остановишься и ляжешь, больше уже не поднимешься! Тебе нельзя останавливаться!

Он понял это и согласился. И решил, что будет идти вперед, к дому, пока держат ноги, пока не потеряет способность двигаться. Надо идти, сколько хватит сил! Идти, даже если сил уже совсем не осталось! Так веками поступали поморы, терпящие бедствие в море, замерзающие или изголодавшиеся в лесу.

Израненный, еле передвигающий ноги, он шагал и шагал к своим мигающим ему вдали маячкам, туда, где жили его милая женушка Татьяна, сыночек Петенька и не родившаяся еще дочка Дарьюшка.

И он дошел! Дошагал, допередвигал ноги!

На озере, в километре от деревни его встретила жена. Она шла ему навстречу и тянула за собой на веревке большие санки. Хотя висели уже над деревней и над озером сизые вечерние сумерки, ранние в эту пору, она разглядела мужа далеко-далеко и побежала ему навстречу. Ах, какие же они чуткие, эти любящие женщины, какие предусмотрительные! Как догадалась она, что надо взять с собой санки? Что без них никак будет не обойтись?

Она бережно уложила Трофима на них, положила ему под голову рюкзак, расцеловала лицо и повезла в деревню.

Тянула она драгоценные эти саночки и тихонько опять выла. От жалости к своему Трофимушке и от великой радости, что он живой.

У поморок плач этот - вполне обычное дело. И горе и радость. И встреча и прощание. И надежда. И любовь.